

ИМИТАЦИЯ ДНЕВНИКА

...Кто-то в компании говорит: двадцатый век — век перемещенных лиц. Поглядите: много ли среди нас людей, которые родились в этой стране? И если даже родились здесь, где родились их родители? (Сидим в нью-йоркской квартире, разноязыкая интеллигенция.) Действительно: две войны, два чудовищных режима, и сколько массовых перемещений! Почти все мы дети массовых перемещений, должно это как-то отразиться на наших личностях?..

...Мир моего детства, как средневековая картинка. Это мир провинциального южного Города, в котором люди повисают на ступеньках битком набитых трамваев, чтобы проехать две-три крошечные остановки: расстояния здесь растягиваются в сознании людей немислимо. Я родился и вырос в центре Города, и окраины представлялись мне чем-то отдаленным, смутно угрожающим и, в общем, слегка презренным. Из разговоров взрослых запечатлевается, будто Город окольцовывает наподобие крепостной стены улица под названием Старопортофранковская, а за ней — небытие, тмутаракань, где обитают люди со звериными головами. Но вырастая, я с удивлением обнаруживал, что эта улица проходит всего в каких-нибудь десяти кварталах от моего дома. По-видимому, когда-то Город действительно заканчивался этой улицей, но с тех пор много воды утекло, да и улица была давным-давно переименована. Именно то, что улицу в советское время переименовали, помогает сознанию держать в себе два несовпадающих образа Города: один детский, который остается со мной до конца жизни и постоянно приходит во снах, и другой — бытовой, реальный, куда менее интересный...

...Дружба с соседом по квартире Димой Вайсфельдом, который старше меня на год. Дима — маленький человек действия, я — маленький человек рефлексии. Дима доминирует и выбирает, поджав губы, когда мы в ссоре и когда мы в мире. Я помню поджатые губы, но не самые причины ссор, ни одну из них. Дима выбирает в играх быть пограничником, а мне отводит роль басмача. Дима знает, как представляться, то есть знает, как выставить себя в своей значительности. Дима начинает заниматься на скрипке, я — на фортепьяно. Захожу к нему в комнату, он стоит, пиликает и даже не смотрит в мою сторону (опять значительно поджаты губы). Мне дается понять: вот, он учится на скрипке, и это куда важнее, чем не только мои занятия на пианино, но и наши игры. И я, заезжая сердцем, согла-

шаюсь: мне же во время моих занятий не приходит в голову так важно поджимать губы! Значит, тут на его стороне правда! На самом деле Дима терпеть не может свою скрипку (скоро бросит ее), но надо же утвердить свое превосходство! А я еще долго-долго, много лет не буду знать, что же это такое, утвердить свою волю над другим, все буду угнетаться своим ничтожеством, своей глупостью по сравнению со всеми будущими друзьями, непрерывно сомневаться в себе, и этот процесс затянется неизвестно до каких лет, оттягиваясь, как тетива какого-то бесконечного лука... Но потом что-то случится...

...Димка Вайсфельд умер несколько лет назад, не выезжая из Одессы, и я горюю по нему, потому что это был родной мне человек, мы выросли вместе почти как братья. Я повидался с ним, когда приезжал в Одессу в 91-м году, он был толст, ступал косолапо и с одышкой и по-прежнему ласково называл меня Бенчиком. Так он окрестил меня когда-то в честь Бени Крика, уж не знаю почему. Тогда я не задумывался, потому что воспринимал это как насмешку сильного над слабым, но теперь думаю иначе. Может быть, что он уже в наши юношеские годы чувствовал во мне что-то "экзотическое", что постепенно отрезало меня ломтем от всего родного, близкого, округло-теплого прошлого, и потому нарек именем экзотического персонажа? (Кстати, растрепанные странички "Одесских рассказов" Бабеля, что попались нам тогда неизвестно каким образом, произвели на меня отталкивающее впечатление: я принял их за дешевый бурлеск, вот какой у меня был в отрочестве узко-строгий "классический" вкус.)

Но возвращаясь к Диме: наши роли начали меняться уже в молодости. На похоронах отца Дима бормотал расслабленным голосом: "Вот, были люди, теперь они уходят, и таких больше нет", — и помню, как меня удивила эта сентиментальная бодяга. Я никогда не замечал с его стороны проявления особенных чувств к отцу, который, бывало, лупцевал его. Между ними было мало общего, отец был "пережиток прошлого", а Димка — марксист по мировоззрению, секретарь комсомольской организации в школе (остался марксистом даже после того, как обиделся на советскую власть за ее все более развертывающуюся антисемитскую политику). Конечно, Димка был ушиблен по-человечески смертью отца, он сдался человечности. Я же этой человечности никогда не сдавался, и уж тогда тем более, потому-то был так невежественно изумлен.

...Когда мы с Димой виделись в 91-м году в Одессе, они с женой и дочками жили в небольшой квартире при известной (забыл название) лечебнице на Французском бульваре, в которой Дима работал невропатологом.

У них были немецкая овчарка (мы оба мечтали в детстве о немецкой овчарке) и кот, и от прохудившегося ковра на полу исходил запах кошачьей мочи. Этот запах особенно умилил меня доказательством тепла семейного обиталища и окончательной Диминой трансформации в мягкого человеческого человека. Эх, и намыкался бы он, если бы по недомыслию попал "ради детей" в эмиграцию! Но, слава богу, умер до того... А вот со мной оказалось иначе, эмиграция дотянула тот самый лук до предела, и стрела была пущена...

...Коммунальная квартира, в которой я вырос, была до революции построена моим дедом и состояла из восьми комнат, расположенных вдоль бесконечно длинного, в семнадцать метров, коридора. Когда после революции пришло время уплотнения, мой дед, как я понимаю, постарался заселить ее близкими и знакомыми, и ему это почти удалось: в квартире жила только одна семья коммуниста Бутвинника, остальные были обыватели еврейского, как и мой дед, происхождения и несоветской направленности. Каждая семья владела комнатой, а нам принадлежали две, что заведомо разделило квартиру на аристократов (нас) и плебеев (всех остальных). Скандалы были часты и ужасающи, квартира непрерывно делилась на враждебные лагеря, коалиции, партии, состав которых менялся в зависимости от тематики последней свары. Что примечательно: не припомню случая, чтобы одновременно возникло три различных коалиции, всегда только две, хотя кто-то мог оставаться на время в лагере нейтральных (из чего я заключаю, что двухпартийная политическая система отвечает каким-то глубинным основам человеческой психики: три лагеря — в этом есть что-то непосильно излишнее и ненужное).

Любопытно, что довоенных скандалов я не помню: неужели и в этой области у нас царил рай? Уверен, что запомнил бы: слишком был изнежен, чтобы не потрястись, как молодой Будда. Вероятно, если и происходили маленькие скандалчики, то не в моем присутствии. У меня есть странное чувство, что мое представление насчет счастливой довойны основывается не только на субъективности детского ощущения. Три-четыре года предвоенной жизни были для всей страны периодом, когда были уничтожены последние неудобные люди, и наступил истинный советский рай. С точки зрения думающих людей, которые все еще способны были критически мыслить и которые помнили прошлое, это было самое страшное и безнадежное время, лагеря были полны миллионов и миллионов людей, а страна была утихомирена, кастрирована и... счастлива. Умирал в отчаянии одиночества писатель Булгаков, умирал герой романа Пастернака "Док-

тор Живаго", а страна пела "Выходила на берег Катюша", танцевала под танго "Утомленное солнце нежно с морем прощалось", и стихи посредственных поэтов были на такой же расхват, как когда-то стихи Пушкина. Многие критики коммунизма указывают на то, что гитлеровская Германия существовала всего несколько лет, а советская власть — семьдесят (так же хвастался Геринг, когда его захватили в плен: "Но мы хорошо жили несколько лет!"). Но если брать по сути дела, то и у советской власти, и у фашистов были одни и те же несколько лет истинной безоблачности — и у тех и у других в течение второй половины тридцатых годов. Что произошло бы, если бы немцы, вместо того чтобы нападать на Советский Союз (вот дураки!), захватили бы Англию, а потом вместе с Японией и Америку, и поделили бы с коммунистами мир? Страшно и сладко подумать! Думаю, наша жизнь стала бы еще более райской и наивной, и невинной, и счастливой!

Наступало лето, по главной улице Города начинали фланировать мужчины в кремовых брюках и белых парусиновых туфлях, и семья выезжала на дачу совсем таким же манером, как это делалось в продолжение предыдущих ста лет: к дому подъезжала полуторатонная "площадка", влекомая ломовыми лошадьми, на платформу грузили чуть ли не половину имеющейся мебели, включая пианино, посуду, чемоданы и мешки с одеждой, все это тщательно закреплялось джутовыми канатами, и платформа неторопливо следовала через весь Город до десятой станции Фонтана, где несколько лет в одном и том же дачном коллективе снималась просторная свежевыбеленная комната с террасой, выходящей в большой запущенный сад. Терраса была обрамлена колоннами, цементный пол ее, покрашенный под мрамор, был в нескольких местах надтреснут, и сквозь трещины прорастала трава.

На даче постоянно жил высокий и сутуловатый управляющий Николай Петрович с женой и скульптурным физкультурником сыном Котей. Легко положив на загорелые плечи байдарку, Котя уходил утром к морю, чтобы неизвестно когда возвратиться, и я смотрел с восхищением ему вслед. По вечерам, когда спадала жара, и мужчины приезжали с работы, люди сидели на террасах, лениво перебрасывались словами и "закручивали крем" (в чашку разбивали несколько желтков, сыпали сахар, растирали чайной ложечкой, пока сахар не переставал скрипеть, потом добавляли изрядный кусок масла, и эту смесь помещали в холодильник, где она загустевала). Ну и конечно, кто-нибудь заводил патефон и ставил "Утомленное сердце".

С утра, надев на них белые панамки, детей водили на пляж. Женщины заходили в воду по пояс и затем приседали и вставали, приседали и вставали: таково было их купание (некоторые даже проплывали несколько шагов, барахтаясь собачкой). По воскресеньям появлялся на пляже отец, и тогда купанье приобретало иной оттенок. Далеко в море уходили буквой "Т" восемь свай, на которые рыбаки натягивали под водой сети. Сваи эти служили ориентиром для пловцов. Говорилось: "Заплыть до первого столба", — или до второго, или третьего и так далее. Проверить, доплыл ли кто до самого конца, до шляпки "Т", было невозможно, потому что еще до того голова пловца превращалась в точку и вообще исчезала. Голова отца исчезала регулярно, мать неизменно начинала волноваться, и ее волнение передавалось ребенку.

Но для меня выделенность отца на пляже заключалась не только в дальних заплывах: еще больше на мое воображение действовала манера отца плавать. В те времена люди плавали вразмашку, собачкой или лежа на спине. Отец тоже плыл вразмашку, только каким-то особенным, шикарным манером. Занеся руку перед собой, он не совершал гребок, но сперва поднимал руку вверх, а затем уже со шлепком погружал в воду. С точки зрения здравого смысла эти подъемы рук и шлепки были бессмысленны, нелепы, но разве шестилетний или семилетний мальчик может понимать такие вещи? Для меня тут было еще одно доказательство физической мощи отца и его особенности среди людей.

Отец возвращался после заплыва, мать ругала его, а он только кричал, шел и ложился у кромки воды, так что море, ласково играя, набегало на него. Потом он брал меня за руку, заводил в воду, приказывал встать, расставив широко ноги. С замиранием сердца я вставал, отец нырял сзади, внезапно я вылетал из воды на отцовых плечах, и тут же летел кубарем вниз. Хотя мне было страшно, я просил отца еще и еще повторить прыжок, и отец снова и снова нырял, пока ему не надоело. Но отец никогда не поощрял и не хвалил сына. Напротив, он как-то стал упрасивать стать ему на плечи, пока он держит за руки, и уже тогда прыгнуть, но я, хихикая, отказывался, потому что мне было страшно новой высоты. Тут же налетела мать, протестуя, что отец обращается с сыном, будто тот какой-нибудь "взрослый бугай", и отец молча уступил: он был убагодворен морем и солнцем.

Стояло лето сорокового года, бригады музыкантов ездили в отторгнутую от Польши Западную Украину на концерты и привозили оттуда для жен и мужей чудесные наряды. Дядя Тоня Вайнер, профессор консервато-

рии по классу виолончели, разучивал с матерью сонату Грига, потом пили чай с лимоном, и он рассказывал про красоту города Львова. (В провинциально теплом Городе всех взрослых было принято называть не по имени отчеству, а дядями — и так до собственного пожилого возраста.)

Мать не ездила: ее, скорей всего, не пустили, потому что у нее было много братьев и сестер за границей. Впрочем, ей и не нужно было ездить: братья и сестры присылали через торгсин деньги и отрезы на платья и костюмы. Прошлым летом приезжали в гости из Москвы брат отца, дядя Гриша, с женой тетей Надей, тоже по-особенному какие-то нарядные и веселые и тоже связанные с заграницей, куда дядю Гришу посылали учиться и откуда он недавно вернулся. И опять же я не мог знать, что очень скоро дядю вместе с тысячами и тысячами других молодых специалистов, посланных учиться за рубеж, посадят как шпионов, и что дядю я увижу только через семнадцать лет полуинвалидом (к тому времени я стану таким закоренелым антисоветчиком, что отец будет шепотом умолять придержать язык, а я буду только насмешливо отмалчиваться).

Дядя привозит мне заграничный игрушечный автомобиль красного цвета. Это открытый длинный "кадиллак", за рулем сидит шофер, а снизу устанавливается плоская батарейка, и машина бегаёт на ней без конца. Эта машина даже как-то слишком хороша по сравнению с отечественными, и потому я держу ее на отдельной полочке как диковинный трофей и как приманку для игр с другими детьми.

Особенно замечательно справлялись на даче дни рождения, и ребенок, чей день рождения приходился на лето, был отмечен судьбой. (Вот и мой день рождения приходится на лето.) Город был знаменит своей кухней, и приготовления ко дню рождения начинались за несколько дней. Сервировались два стола: один для взрослых и другой — сладкий — для детей. Тончайше, на руках, растягивалось тесто, из которого пекли малюсенькие тающие во рту пирожки с мясом, печенкой и картошкой, а на сладкое — вертуты с вишнями и абрикосами, благо деревья в саду ломились фруктами. Фаршировались перцы и кабачки, приготавливалась знаменитая одесская икра из баклажан. Но все-таки вершиной кулинарного искусства были торты и пирожные (так называемая "сдоба", то есть изделия из сдобного теста, хотя и пеклись, но за настоящее сладкое не считались). Из слоеного теста пеклись трубочки, наполненные взбитыми белками, в ступах толклись грецкие орехи на ореховые торты, ну и, конечно же, пеклись коржи и варился заварной крем для наполеона. Хозяйки под секретом передавали своим ближайшим приятельницам вычурные, захватывающие дух

рецепты новых тортов. Детишки получали к чаю на тарелочках, по крайней мере, по пяти кусков разного сладкого, и все превосходно съедалось: в Городе не любили худых детей.

Еще на дачу заведомо завозили контейнер обложенного льдом мороженого, и хотя мороженое к концу вечера изрядно подтаивало, все равно в нем был особенный шик: домашние-то торты были здешним детям не в диковинку. В последнее же лето перед войной отец превзошел сам себя и привез из города кинопередвижку, и детям показали фильм "По щучьему велению"... И вдруг все это кончилось, и началась война...

Однако вдогонку: образ довоенной жизни Одессы сильно совпадает с эстетикой голливудских романтических, вполне "райских" кинокомедий тридцатых и сороковых годов с Бингом Кросби и Фредом Астером, и не только потому, что и там, и там кремовые брюки и вычурные штилеты, но потому, что и там, и там общность элегантно с налетом веселой жлобоватости стиля. (Утесов в "Веселых ребятах" тоже примерно такой.) Подо всем основа: легко на сердце от песни веселой и счастливые концы. Кто у кого взял, Одесса у Голливуда или Голливуд у Одессы, — это тайна (потому что если Александров и Утесов могли смотреть американские фильмы, Одесса ведь не могла). И Голливуд не мог "смотреть" Одессу, даже если среди голливудских заправил были наши выходцы. Нет, тут именно тайна времени...

...Известное дело (еще Пушкин описал это в "Евгении Онегине"): в Одессе всегда существовала проблема с водоснабжением. Не знаю, как теперь, подозреваю, что ничего не изменилось с моего (как и пушкинского) времени, и сливной бачок в квартире на пятом этаже в бывшем доме Папудовой по-прежнему набирается водой по большим праздникам. Так вот, поскольку уборная была коммунальная, и соседи находились в состоянии постоянной войны, понятное дело, что никто ее не убирал, а дерьмо в лучшем случае сливали помоями, а когда их не было под рукой (помои ценились, их крали друг у друга), то стаскивали палкой. И потому в ней стоял соответствующий запах — ннно (опять розинино ннно): в уборной было замечательно большое окно, которое выходило во двор, а во дворе цвела акация. Вот эта-то смесь аромата акации с ароматом зассанной и безводной уборной смешивалась еще с чувством похоти, которое овладевало мной, и с которым я ничего не мог поделать, и все это создавало то уникальное воспоминание, которое живо во мне и поныне.

Насчет же ванной комнаты, в которой действительно стояла ванна, служившая когда-то по назначению, — брр, мне даже странно и неприят-

но было подумать об этом, такое брезгливое ощущение я испытывал по отношению к ней. Ванна была намертво покрыта толстым дощатым настилом, на котором громоздилась какая-то утварь, лоханки, миски. Лампочки там не было, а единственное окошко, выходящее в смежную уборную, было, естественно, замазано краской, чтобы не подглядывали (мы с Димой время от времени процарапывали малюсенькие царапины в надежде подглядеть в уборной соседку Сарру Розенфельд: она была наша Сарагина)...

...Долгие школьные годы, и после них внезапно институт: какая поразительная разница! В девяносто первом году я приехал в Одессу и подошел к зданию школы № 47 на улице Толстого, в которой прозанимался восемь лет своей жизни, и не узнал это здание. Готовил себя, понимая, насколько мое восприятие изменилось, насколько вообще меняется ощущение соразмерности вещей с возрастом и местом, где ты теперь живешь, но все-таки не узнал свою школу, не поверил своим глазам: что же это, что за жалкое полуразвалившееся двухэтажное зданище?

В Нью-Йорке, помню, как приехали, меня неприятно поразил размер тамошних школ, помещающих в себе по две-три тысячи учащихся, и то, что перед входом в школу стояли охранники, — во всем этом было что-то безлико нечеловеческое. (Теперь здесь сожалеют, что строили такие школы: поди совладай со столь необъятной массой учащихся, попробуй запомни каждого в лицо и дай ему ощущение, что с ним установлен персональный контакт.)

Но вот я стоял перед школой, в которую сам ходил, и ощущение противоположной нереальности владело мной. При всех привходящих обстоятельствах это было как-то уже слишком: размер реальных людей, которые учились здесь, людей, которые жили в моей памяти, просто не умещался сюда, тут было какое-то унижение. Несмотря на вывеску, мне продолжало не вериться, что школа функционирует, и я, поднявшись по ступенькам, попытался открыть дверь. Но дверь была заперта. Я стал стучать, пока по ту сторону дверного стекла не появилась женщина. Я знал, что выгляжу по-иностранному, и в этой жалкой Одессе начала девяностых годов я ощущал себя полубогом, пришельцем из иных миров. Я хотел удостоить чести школу своим посещением и не сомневался, что меня примут соответственно, как только объявлю себя. Но через закрытую дверь не очень-то можно было себя объявить с соответствующим достоинством, и женщина продолжала смотреть на меня испуганно-враждебно, отрицательно мотая головой. Внезапно ее окружили детские лица, которые глядели на меня широко.

ко открытыми глазами. Тут женщина окончательно пришла в негодование и стала делать руками категорические жесты, мол, убирайся отсюда немедленно, а дети между тем наседали друг на друга от желания увидеть, что происходит. У них был такой вид, будто они постоянно живут взаперти за этой дверью и впервые видят человека по другую ее сторону.

Все это произвело на меня странное впечатление, я пожал плечами и удалился. Я не помнил ничего подобного из своих времен, у детей был совершенно дикий вид, но неужели та самая несоразмерность временной и географической дистанций, которая отделяла меня от моего детства, могла так обмануть меня? Неужели мое лицо или лица моих одноклассников могли быть среди лиц, которые я только что увидел, боже, боже??

Что ожидает человека, когда он в самом деле сможет путешествовать во времени, — думаю, что это будет такой ужас, что сердце просто не выдержит. Из моего класса вышло пять золотых медалистов, и три человека получили серебряные. Это был выдающийся класс, но борьба за медали шла всегда, неважно, годом раньше или годом позже, потому что с медалью принимали в институт без конкурса. Класс возглавлял абсолютно круглый отличник шепелявый Шурик Вассерман, будущий доктор технических наук, за ним шел таинственный "гуманист" Витя Дублянский и затем психованный Ленька Коздоба, этих трех запомнил, потому что были ярки, остальных медалистов даже не помню...

...В мое время люди в Одессе совсем не гуляли, а только ритуально прошвыривались вечером по Дерибасовской. Как известно из литературы, прогулка по центральной улице города — это старый ритуал. Примечательно, что в советское бесклассовое время на Дерибасовской происходило точно такое же классовое разделение, как и в старые времена. Одна сторона (правая, если идти от Преображенской улицы к Приморскому бульвару) называлась Пижонстрит, а противоположная — Гапкинштрассе, потому что по ней прогуливался, в основном, простой люд и домработницы. Какое прекрасное разделение (потому что произведенное по обоюдному желанию)! У меня даже сохранилось ощущение, что правая сторона улицы была ярче освещена — могло ли такое быть?

Здесь, на малюсеньком пятачке земли, четырех кварталах Дерибасовской улицы (от Преображенской до Ришельевской), осуществлялся целый человеческий замкнутый в себе мир — и не нужно было ему других миров (оттого, наверное, в Одессе и не гуляли по большим пространствам). Оттого моя память довольствуется малюсенькими деталями этого мира, превращая их в грандиозности. Например, для меня необыкновен-

но существенна пологость тротуарного выступа у Городского сада. Мне даже снится, как я ребенком ступаю на этот выступ, и у меня замирает сердце (в каких-нибудь трех-четырёх метрах дальше этот выступ уже не так полог, и это мне хорошо известно). В определенные моменты я даже не уверен, что эта пологость существует в реальности, потому что воспоминание о ней пришло (и продолжает приходить) из снов, и я постоянно тщусь понять, действительно ли увидел ее в первый раз во сне, или всегда помнил, и потому приснилась... Таким же образом я помню, что участок Дерibasовской, вдоль которого тянулся Городской сад, действительно был по вечерам плохо освещен (отсутствие витрин магазинов), и это тоже подтверждало подозрение, что гулять там может только второстепенный люд. Участок этот был длиной не более сорока-пятидесяти метров, но воображение растягивает его на куда большее расстояние.

После Городского сада шел кинотеатр Уточкина с крученой железной лестницей на второй этаж, а под лестницей находился силомер. О, этот силомер! Я стоял в стороне, глаза на людей, что здесь толпились. Силу можно было проверить, сжимая ручки силомера, и еще можно было ударить с размаху кулаком по обитому изношенным бархатом подобию велосипедного седла. Большой циферблат был размечен килограммами и такого рода обнадеживающими надписями: "детская сила", "средняя женская", "нижесредняя мужская" "средняя мужская" и т. д. Все, что мне удавалось выжать на силомере, едва ли достигало "нижесредней мужской" (бить по "седлу" я вообще не решался). Но вот приближался к силомеру некий известный здесь безрукий человек, который почему-то всегда ходил без майки. Он коротко разбегался, шмякал по "седлу" лобешником, и силомер зашкаливало. Да, это была Одесса, и это было Гапкинштрассе.

На Пижонстрит ничего подобного не могло произойти, там дефилировали молодые люди в костюмах и макинтошах индивидуального пошива с роскошно выработанной грудью. Несколько слов об этой самой груди, равно как и об индивидуальном пошиве. Времена изменились, современные молодые люди наверняка не знают, о чем я говорю. Когда мы жили за настоящим железным занавесом, костюмы или пальто массового советского пошива носили только те, у кого совсем не было денег, или, с другой стороны, те, у кого уж совсем не было понимания или вкуса к одежде. Везде существовали ателье по пошиву одежды с доступными ценами, и если там шили ненамного лучше, чем на фабрике, то все же шили лучше. Меня не слишком баловали в детстве, но я твердо помню, что одежда фабричной выделки за всю жизнь у родителей так и не коснулась моего плеча.

Существовал определенный культ портных, и если кого-нибудь спрашивали, у кого он пошил такой хороший костюм, то этот человек всячески старался увильнуть: а-а, это мне строил один мастер из Черновиц, он приезжал сюда на гастроли, но уже уехал. (Портные из Черновиц пользовались особым почтением, потому что Черновцы географически находились ближе к Западу и, следовательно, на них лежал отблеск Европы и европейской моды.)

На самом же деле у нас царствовала одна для всех и весьма условная мода, процветшая благодаря полной культурной изоляции и в чем-то очень соответствующая условности советского искусства, в особенности советского кино. То есть это была одежда, не просто имитирующая западную одежду стольколетней давности, потому что провинциальность и застойность сознания производила свои поправки и уточнения в сторону угрубленной карикатуры. Соответственно падал уровень портняжьего мастерства — совершенно в параллель с уровнем киномастерства. (Недавно я просмотрел "Дети капитана Гранта" и "Свинарка и пастух" и был поражен. Не говоря об идеологической стороне содержания, но о чисто формальном мастерстве: куда исчезла традиция великого советского киноискусства двадцатых годов? Нельзя даже сказать, что эти фильмы сделаны на уровне Голливуда десятилетней давности, потому что тут такая халтура, такие странные даже небрежность и пренебрежение логикой развития, каких не бывало ни в каких проходных голливудских фильмах.)

Во времена моей юности даже для лучших одесских портных представлялось нелегким делом кроить и шить таким образом, чтобы их продукция зачастую не пережимала, не перекашивала, чтобы не нужно было вносить переделки, чтобы над всем не царил случай и творческая удача. То, что было на Западе стандартным и рутинным ремесленничеством, у нас превращалось в какое-то чуть ли не заоблачное творчество. И надо сказать, это придавало жизни определенный колорит: скучная материальная вещь превращалась в волнующий многозначительный фетиш, в предмет искусства.

Что касается той самой выработанной груди: она расширенно и выпукло подбивалась волосом, в этом был один из обязательных элементов шика, и чем портной был выше классом, тем шикарней выглядела грудь его клиентов. Вы могли игриво ткнуть пальцем в грудь человека, облаченного в только что построенный костюм, и ваш палец свободно уходил на несколько сантиметров вглубь. Но как только палец убирался, грудь эластично и даже как будто с легким хлопком (о, чудо) выскакивала на место.

Кроме груди огромную роль играли плечи, которые опять же, чем искусней был портной, тем выглядели шире и заканчивались таким образом, что рукав вольно, как водопад, ниспадал с них под углом почти в девяносто градусов. Это правда, что в костюмы такого фасона были облачены заграничные киноактеры в тридцатые годы, но у нас эта мода стала чисто советским явлением, она была как бы принята и навсегда одобрена правящей идеологией как униформа советского "стильного" мещанства, и так продолжалось до той поры, пока в пятидесятые годы не возникло пресловутое стилистическое. Почему советским идеологам не пришло в голову объявить эту моду опасным влиянием гнилого Запада, как было сделано с последовавшими пиджаками без волоса и без плечей? Почему брюки клеш, которые носила молодежь в сороковые годы, были одобрены как нечто свое, родное, а за последовавшие за ними брюки-дудочки судили комсомольскими судами? В конце концов, слово "клеш" пришло из французского языка, и такие брюки носили английские и французские матросы раньше наших матросов.

У одноклассника Женьки Шнюкова были самые знаменитые на всю школу клешы, достигавшие внизу полуметровой ширины. Администрация школы отнюдь не одобряла ношения клешей, тем более что вместе с клешами шел широкий моряцкий ремень с бляхой, который накручивали на руку во время ритуальных школа на школу драк, и тем не менее, против ребят, носивших клешы, никто не высылал "легкую кавалерию".

Нет, нет, в фасоне описанной мной одежды, как и в брюках клеш, сохранялась некая здоровая цельность советского общества, которая не боялась ни имитировать голливудскую продукцию, беря оттуда не только казенный оптимизм, но и типаж героев (опять же, только здесь я понял, насколько советские киноактеры типа Крючкова и т. д. были не русский, а американский типаж), ни делать своими фасоны западных одежд. И это, скажу снова, было отзвуком тех самых советских райских предвоенных лет; а вот когда в конце сороковых — начале пятидесятых советская власть почувствовала, что слабеет, тогда все пошло по-другому...

Нью-Йорк

